

Петр КАЗАРНОВСКИЙ

НАБЛЮДЕНИЯ НАД «ПОЖИЗНЕННЫМ» ЦИКЛОМ
С. В. ПЕТРОВА «MIR ZUR FEIER»¹

*Сколько раз я писал, как Рильке,
самому себе в день рождения
«Mir zur Feier»,
стихи нерифмованные...*

С.В. Петров, 1983

Посвящается Ю.Б. Орлицкому – по случаю его юбилея

В одной из немногочисленных заметок о поэзии Сергея Владимировича Петрова мимоходом сказано: «...кроме новых и устоявшихся поэтических форм есть у него и бесформенный верлибр, которым писал почти каждый год стихотворения, посвященные собственному дню рождения, случившемуся на Благовещение. Если собрать их вместе, то получится своеобразный “рождественский” цикл на собственное рождество»². Такое обозначение стиха, как «бесформенный верлибр», не только спорно и читательски неглубоко, но и несправедливо применительно к продуманной авторской стратегии, которая, хотя и выросла, похоже, из случайного опыта, но со временем достигла той степени отрефлексированной определенности, когда форма определяет поэтическую (и философскую / метафизическую) мысль. Именно к этому аспекту – диктату формы (но ни в коем случае не бесформенности!) стихов «себе на праздник» над содержанием – я и хочу обратиться в своем небольшом исследовании.

В интернете выложен «альбом», состоящий из всех текстов, написанных почти за полвека – с 1934 по 1983, с пропусками, так что всего их 31. Составители сборника, обозначившие себя инициалами «Б. М.» и «А. Г.» (Белла Магид и Алексей Голицын), так определили свойство этих «днерожденных» стихов – «канва, по которой можно проследить важнейшие вехи жизни автора». Правда, в этой книге текстов 32, так как к ним добавлен «Благовещенский псалом», датированный днем рождения автора – 7 апреля (по старому стилю 25 марта), праздником Благовещения. Близо знавший поэта Б.Ф. Егоров свидетельствует: «И дату, и христианский праздник С.В. очень чтит, и почти ежегодно, около полувека, в этот день писал в стихах как бы краткий отчет за год, и озаглавливал каждое такое стихотворение “Mir zur Feier” (“Мне к празднику”), взяв фразу у раннего Рильке»³. Действительно, идея заимствована из ранней поэзии Рильке, во второй половине 1890-х предпринявшего попытку сказать в строгой классической афористичной форме о противоречиях жизни и смерти (книга под таким названием вышла в 1899 и переработана в 1909 – книга известна под названием «Ранние стихотворения»). Но такие стихи и не «краткий отчет», иначе мы должны будем признать начётничество в подходе к поэтическим текстам.

¹ Все тексты С.В. Петрова приводятся по изданиям: Петров Сергей. Собрание стихотворений. В двух книгах. М.: Водолей Publishers, 2008 (с указанием тома – I или II); и Петров Сергей. Собрание стихотворений. Неизданное. М.: Водолей Publishers, 2011 (с указанием тома – III). Тексты под заглавием «Mir zur Feier» даются с указанием года создания, без указания страниц (в двухтомнике 2008 года они следуют единым рядом в алфавитном указателе произведений).

² Тина Гай. Сергей Петров. Осколки Серебряного века. <http://sotvori-sebia-sam.ru/sergey-petrov/>

³ Егоров Б.Ф. О жизни и творчестве С.В. Петрова // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 2018. № 5 (17). С. 1–14.

Тонкий мастер рифмы, Петров в подавляющем большинстве оригинальных стихов следует строгой строфике, даже в тех случаях, когда отказывается от деления текста на упорядоченные рифмой группы строк. Предпринятый поэтом отказ от рифмы во всех текстах цикла «Mir zur Feier» производит пересмотр, главным образом, в строфике и синтаксисе. Если в 30-е годы строфика этих стихотворений определяется синтаксисом, – так что можно говорить о следующей устойчивости: четверостишья в основном включают в себя одно предложение, а восьмистишья – два; в остальные строфоиды – в 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17 и т. д. стихов – организуется различное количество предложений, – то позже, уже начиная с «Псалма» (1944; I, 361-362), разница в длине строк становится всё ощутимей, а синтаксическое целое оказывается более гибким и даже колким, способным раскалываться на небольшие синтагмы, между членами которых устанавливается звуковое родство (приведу несколько примеров: «и горя, и грязи», «тошно и муторно», «укоротили меня, да не укротили»). И одно слово вполне может стоять в строке, как и служебное сочетание или восклицание. Вообще, в организации свободного поэтического стиха Петров использует большой арсенал устойчивых выражений (фольклорных, в частности), подвергая их перекombинациям, как, например, в этих случаях:

...тявкаю понемножку,
чавкаю потихоньку.
А в общем зверь я предобрый,
куда добрее людей звериных
(1959; I, 476)

или

...день слагался
ни по моему,
ни по щучьему,
а черт знает по чьему веленью
(1957; I, 447)

С 1971 г. Петров вовсе отказывается от членения текста на строфы и не прерывает такой практики до конца (в 1953, 1958 и 1965 такие рецидивы уже были, но они отличаются от более поздней формы), исключительно перейдя к расслоению предложений на минимальные части, всегда, правда, морфологически цельные. Начав с 13-стишной строфы в 1971 г. (заметим, что такое количество строк повторяется как минимум трижды; к этому можно прибавить и такие числа, которые кратны 13, – 26, например), он доводит строфоидное образование до 67 и даже 71 стиха (о смысле этого формального приема будет сказано чуть позже). Но во всех стихотворениях, начиная с первого, родство окончаний строк устанавливается в обход рифмы, и глаз ищет подтверждений этого родства в составе слов, в грамматических формах, в намеке на параллелизм (даже приводимые в статье примеры могут дать материал для самостоятельных наблюдений).

Все 32 стихотворения С. Петрова, включая и «Благовещенский псалом» (1944), начинаются стихом «Я родился в Благовещенье». Поэт на протяжении долгой жизни разгадывает загадку своего рождения и проникает в до-существование. Противопоставляя жизнь небытию, Петров упрямо ведет следствие по делу о своем рождении в Благовещенье. Кроме того, все эти «праздничные» стихотворения, за исключением двух – за 1977 и 1980 да еще трехчастного стихотворения 1943, закольцованы и завершаются теми же словами, только включенными в состав сложной конструкции в качестве придаточной части с союзами «что», «ибо», «если»... Применительно к строфической организации текста стоит добавить, что в ряде случаев Петров отделяет первую или последнюю, или обе строки (так происходит в тексте 1955 г.) от остального образования. Нельзя исключить, что, прибегая к такому повтору, автор подстергает неожиданность: в по-

вторенной строке он использует потенциальность скользящего ударения в слове «родился» – от нормативного в первом употреблении к простонародно-поэтическому в последнем, что мотивируется разбегом как строки, увеличенной наличием союза, который скрадывает ударение, так и всем ходом речи.

Вот пример из текста 1936 г.:

Я роди́лся в Благовещенье.
Летела последняя ночь, мотаясь в оглоблях,
и серое утро в мокром снегу
ходило уже по дворам.
<...>
Четверть века! Это латинское слово,
это дата моей истории,
но я, летописец, помню,
что я роди́лся в Благовещенье.
(I, 183-184)

Пример из текста 1941 г.:

Я роди́лся в Благовещенье,
в тот праздник, когда и птица
гнезда не свивает.
<...>
Полечу и снесу яичко,
как лицо уродца, рябое,
положу его потихоньку,
чтобы никто не заметил.
Пусть лежит до поры до времени!
Авось кто-нибудь и станет
им христосоваться с другими,
и тогда мне опять припомнится,
что я роди́лся в Благовещенье.
(I, 285-286)

Еще один пример – текст 1971 года:

Я роди́лся в Благовещенье,
отстучал шестьдесят годов.
А на что мне в жизни пожаловаться?
На то, что кому-то горчил
и сам огорчился?
Вот, подумаешь, горе!
Ведь жизнь – она вроде иксятины,
да к тому же и с игречинкой.
Так не лучше ли,
отряхая пепел с сигары,
потихонечку уверяться,
что дуракам на потеху
роди́лся я в Благовещенье?
(II, 136)

Инверсия здесь мотивирована вопросительностью предложения, тогда как в 1955 вопрос подавался иначе: «Да родился ли я в Благовещенье?» (I, 417) – так что сам факт происхождения на свет подвергается сомнению (или «сумнению», как называл это чувство автор).

То же кольцо и в начале и конце стихотворения 1983 г., последнего в этом «пожизненном» цикле, но им я закончу свое эссе.

Наряду с колебанием ударения в словоформах «родился / родился», во всем корпусе днерожденных стихотворений находятся еще несколько случаев, когда поэт как будто провоцирует недоумение читателя: как произнести слово верно? Так, еще в первом тексте, датированном 1934 г., есть такие строки: «В этот день прилетавшие птицы, / огромные как южные звезды, / гнезда себе не свивали, / а громко молились и пели / о моей одинокой жизни» (I, 76). Через семь лет этот образ – не свивающей себе гнезда птицы – вновь возникает: «Я родился в Благовещенье, / в тот праздник, когда и птица / гнезда не свивает» (I, 285); там же этот фольклорный мотив становится фактом автохарактеристики: «Погнало меня по дорогам, / по беспутным и немощным, / и нигде гнезда не свиваю» (там же). В 1943 г. в трехчастном тексте «Mir zur Feier» в самом начале сказано: «В этот день отчего-то птицы / гнезда себе не свивают» (I, 342); а в 1974 – «В сей день птица гнезда не вьет» (II, 300). В зафиксированном Михельсоном варианте поговорки фигурирует только единственное число: «Птица гнезда не вьет...», как и в запаралеленном ему конце: «девица косы не заплетает»; но Петров в приведенных примерах употребляет в качестве подлежащего как существительное единственного числа, что подразумевает таковое же в прямом дополнении, так и существительное множественного, что предполагает вариативность, выражающуюся в скольжении ударения: «гнезда не свиваю», «птица гнезда не свивает, не вьет» – но «птицы гнёзда себе не свивали, не свивают». Такие колебания свидетельствуют об усилении «возможностей ритмико-синтаксических соотношений» (по Бухштабу), попросту расшатывают ритмику. Действительно, во всем верлибрическом корпусе Петрова прослеживается синтаксический сдвиг: положение слова в строке диктует его звуковую фактуру, а в чем-то этой звуковой фактурой и определяется.

Вот что происходит в тексте 1957 г. Поэт говорит о не вполне удачно проведенном дне рождения:

Нерадостно было мне нынче:
с утра до вечера
погода хмурилась,
день слагался
ни по моему,
ни по щучьему,
а черт знает по чьему веленью.
И торчала в уме, как шест,
цифра 46.
Даже и пожилому трудно тут
удержать равновесие.
Но недаром я в детстве научился жонглировать.
Шест торчал,
качался,
но не упал.
Вот что значит эквилибристика!
<...>
А вечер слагался
ни по моему, ни по щучьему,
а черт знает по чьему веленью,
и торчал и качался шест...
И часы

приближались к полночи.
 Переждал я все помехи,
 из людей добродушных слагавшиеся.
 А когда исчезли слагаемые,
 сел к столу,
 удержав равновесие,
 и пустился выкидывать фокусы
 над самим собой
новорожденным.
 Я недаром учился жонглировать.
 Вот что значит эквилибристика,
 если я родился в Благовещенье.

(I, 447-448)

Благодаря окказиональному ударению в слове «новорождённый» (недаром же оно вынесено в отдельную строку), последние четыре строки получают клаузулы, имитирующие дактилические окончания, а за ними выстраивается неровным строем и весь текст – от конца к началу, требуя повторного прочтения.

Повторы нанизываемых друг на друга мотивов с небольшими изменениями названы прямо – «жонглированием», или «жонглерством», то есть занятием, совершаемым жонглерами, бродячими певцами, сродни немецким шпильманам и русским скоморохам. Отсюда у Петрова не только ощущение странничества, вообще характерное для русской литературы, а в его случае подкрепленное тяжелым жизненным путем: родился в Казани, учился в Ленинграде, после первого ареста был выслан в Красноярский край, затем три года в Ачинской тюрьме, жизнь в Сибири, потом в Тверской области, после смерти Сталина – Новгород, с начала 70-х – Ленинград... Так, обыгрывая свое 55-летие – Петров вообще любит и ценит счет, число за его небуквальную соотнесенность с буквой («Я сам – стеченье числ») – он говорит:

Поставлены мне судьбою
 две пятерки.
 Одна пятерка – вполвека –
 за то, что я – и стиснутый,
 и трепанный,
 и мотанный –
 сжался в себе самом
 и не растерялся по годам и дорогам,
 за то, что сам с собою
 был неподкупен и честен.

Числа возраста обыгрываются так же, как даты и как количество уже написанных стихов «себе к празднику»: недаром единственный текст, названный не «Mir zur Feier», а «Благовещенский псалом», создан на свое 33-е рождение – в возрасте Христа. Думается, поэт после 1983 г. намеренно не продолжал этот цикл: во-первых, 1984 г. был юбилейным пятидесятым с момента такого начинания; а во-вторых, будь написан он в том 1984 или в последующие годы, он стал бы 33-м, то есть всё равно ко многому обязывающим¹. Наверняка намеренно в 1978 г., себе на 67-летие, поэт создает строфоид в 67 строк, тогда как в 1983 г., последний раз текстом отмечая день своего рождения, останавливает строфическое образование на 71 строке (это самое длинное

¹ Не знаю, следует ли принимать за простое совпадение такой курьез, что 7 и 25 в сумме дают 32 (7 апреля – это то же самое, что и 25 марта по старому стилю, – праздник Благовещения и день рождения С.В. Петрова). Не исключено, что отказ написать 33-й текст был вызван его кратностью 11 (вспомним, что родился Петров в 1911 г.).

из днерожденных стихотворений). Таким образом, остановившись на пороге и 50-летия начала этого цикла, и количества отмеченных текстами годов (32), Петров, согласно предлагаемой интерпретации, и само Благовещение поэтически представлял предвосхищением, великим преддверием – чем-то предворяющим важное свершение. (К слову сказать, подобный расчет, если его предположить за авторской стратегией, способен отвести от Петрова упреки в графомании¹.) Таким образом, цикл, вырвавшийся с самого начала «без плана» и даже в неведении автора по поводу следующей даты, вырастает во что-то принципиально незавершенное, разомкнутое в будущее.

В 1976 г. поэт выскажется почти по-шаламовски, хотя и с присущей самоиронией:

Я родился в Благовещенье,
 когда благовестили
 воробьи
 про распутицу
 и чирикали,
 мне-де не будет пути.
 Вздор воробьиный!
 Лишь у безногих
 пути не бывает.
 А я по своей дорожке
 Бог весть к какому Богу
 и на руках доползу,
 ибо я родился в Благовещенье.
 (I, 417)

Если самоирония и всегда горька, то у Петрова она доводится до серьезной формы забавы, шутовства, балагурства, даже моментами юродства.

Как нищий,
 бредущий от всенощной,
 бормочу суетливо
 псалом восторженный:
 «Я родился в Благовещенье»
 (1956; I, 433)

Такие слова, заставляющие усомниться в искренности признания о «равенстве самому себе»:

...всегда бывал кем-то чужим, нежеланным
 и новым,
 оставаясь равным
 самому себе
 (1955; I, 417),

¹ Белла Магид в своей страстной апологии пишет: «Знаменитый прозаик Фёдор Абрамов, послушав однажды стихи С.В., сказал ему с обезоруживающей откровенностью: “Если бы я не знал, С.В., что Вы – замечательный переводчик, то подумал бы, что Вы – графоман”. Эту фразу С.В. частенько цитировал своим слушателям или читателям, а они прекрасно сознавали: того, кто недоступен пониманию по причине очень высокого полёта, проще всего объявить графоманом (в клиническом значении этого слова). Ну а если клинкой тут не пахнет, то настоящий писатель и должен быть графоманом: он не может не писать, и в этом его призвании» (Магид Белла. Сергей Петров в ожидании Благовещенья // Волга, 2013. № 1;

<https://magazines.gorky.media/volga/2013/1/sergej-petrov-v-ozhidanii-blagoveshhenya.html>)

– соседствуют с желанием разгадать тайну своего рождения, проникнуть в собственное существование – ни до и ни после, дать голос всем поселенцам в своем существе:

Вокруг меня намотано существо.
Я всунут, как в трещину, в особицу,
сам себе особ-статья,
персона,
личность,
индивидуум,
да еще вообще человек

(II, 10-11)¹,

– признается он в 1967 г. Совершаемое поэтом в день рождения погружение в себя словно указывает на имперсональную природу лирики: говоря о себе, он свидетельствует о каждом, независимо от индивидуальной воли и доли. Как знать, может быть, теоретик литературы по этому поводу выскажет соображение об очередном преобразении лирики в эпос, в котором личностное, индивидуальное будет потеснено неким новым общим – человеческим, гуманным, поэтическим...

Через год, в 1968, словно подхватывая прежнюю мысль о необходимости и невозможности собственного осуществления, сетует о своем «многолюдстве»:

Где другая моя половина?
Умерла или не родилась?
Где она, Я, которое – Ты?
Которое было бы Мы,
пусть горемычное,
пусть замызанное до боли мыслями,
но лупящее кулаками
по одиночеству!

И живу от себя в особице,
без вины ополовиненный,
сам себе – как чертова чара
или просто загулявшая чарка.
И допить ли горькую стопку
или сказать: «Стоп!» –
да об стол ее и вдребезги?

Но авось, авось уцелею!
Но авось, авось стану целым
и увижу себя как Меня,
как Тебя и как Нас со Всеми,
ибо я родился в Благовещенье.
(II, 42)

Эти существа могут представлять и в птичьем обличи:

¹ А после этого перечисления всех своих ипостасей, за которыми встает фигура некоего «Everyman'a», поэт разражается раешным двустийшем:

Потаскай-ка их всех на одном горбу –
порастрясешь и себя, и судьбу... (II, 11)

Раешным стихом написано себе на рождение стихотворение 1975 г. (привожу его в Приложении).

Что же я за птица такая?
 Каковы у меня приметы?
 До сих пор себе не отвечу.
 Но сдается, ей-богу, право,
 что не важная пава, не попка,
 не индюк, краснозобый чиновник,
 не щебечущая канарейка,
 не орел-стервятник, не коршун
 и не серенькая пичужка,
 не воробышек никудышный,
 не кукушка-вещунья, не чижик,
 не очкастый ученый филин
 и не сокол удалый я.

(1943; I, 342)

В том же стихотворении он просит своего доброго бога, «старого сказочника, чуть насмешливого древнего Андерсена», чтобы тот создал сказку, в которой он будет «пичужкой многоголосой, / соловьем, побеждающим смерть» (I, 343).

«Многоголосье» (то же, что и «многолюдство» в одном лице) – нагнетание самости в день своего рождения не только с целью победить смерть, но и для того, чтобы представить свое как чужое и войти с ним в диалог. Не об этом ли он сказал в афористическом четверостишии «Буддическое»:

Убей себя в себе и стань никем,
 покуда ты в ничто не превратился

(1966-67; III, 78)

Не отсюда ли и происхождение поэтического жанра фуги: автор их записывал семью разными цветами шариковых ручек, чтобы подчеркнуть особое интонирование, сообразно семи нотам, – такую полифонию, предполагающую мыслимый переход от визуального-колористического к звуковому-тембральному. Кажется, первая fuga была создана в 1967 г. и называлась она «Распутье» – вновь осмысление пути или недоумения перед выбором пути, «сумнения», недаром это сравнительно небольшое стихотворение закольцовано мотивом сомнения:

Я усумняюсь. – Или мне ни жизни, ни житья...

<...>

Я даже умирая умудрюсь
 не гневаться, а только сомневаться.

(II, 24-25)

Мотив жизни как постоянного сомнения – один из устойчивых у Петрова, оттого в середине 60-х, развивая декартово «cogito, ergo...», он заявляет:

Я мыслю, стало быть, я – путаник, бродяга,
 скиталец, задушевный баламут...

(1965; I, 574)

Пожалуй, к жанру фуги как предельно диалогического жанра лирики Петрова можно отнести и стихотворение «Мне отпраздновать» 1974 г., целиком построенное как выяснение с кем-то причин своего праздника и праздничного настроения:

Так давай раскачивать
языками железными
по всей пустоте
о том,
что родился я в Благовещенье.
(II, 300)

Но, помимо угадываемого лирического «я», кто участвует в этом допросе? И кому принадлежит последний призыв, приводимый здесь? Вскользь заметим: здесь вновь в последней строке дает о себе знать инверсия «родился я», на сей раз мотивированная не вопросом, а только ритмом. Продолжая читать последнюю строку с заявленным в начале своего размышления не-нормативным ударением, я пускаюсь, вслед за поэтом, в поиски равновесия. Колеблясь между верлибром и различными переходными формами, включающими различимую метрику, Петров создает ситуацию недоумения перед тем жизненным пространством, за которое его «выталкивали взащей» (1965; I, 539).

Стараясь адекватно отзывчиво откликнуться на это поэтическое открытие сути «сумнения» – благое и блажное, следует сказать, что стихотворческое жонглирование, эквилибристика у Петрова принимает вид поиска равновесия между звуками, словами, смыслами, перекликающимися и находящими друг с другом то родство, то взаимное отрицание. Оттого-то омонимия и паронимия, вплоть до тотальной аттракции, позволяют включать в пространство текста столь разные и несводимые образы и темы.

Неудовлетворенность от одиночества одного своего «я» и недоумение от нераспознанной доли, удела находят яркое выражение в довольно длинных перечислениях, вообще – рядах слов, объединяемых общим звучанием, тут и омонимия, и паронимия. По Петрову, поэт состоит из слов, как соловей – из голосов. Поиск множества себя в «семейной коробочке» с гаданием «на темной научной гуще» о смерти, когда она должна произойти: «в Рождество ли? / В Покров ли?» (1963; I, 514), «В Успенье / или в день / усекновения Главы / Иоанна Предтечи?» (1975; II, 355) – есть поиск единственного сочетания, которое может ритмически проявиться на разных пространствах текста, даже на пространстве в целую жизнь; и тогда «жизнь <...> посмертно повторится» (из стихотворения 1983 г. «Бессмертие»; II, 570). В тенденции, в становлении своего «пожизненного» цикла Петров словно испытывает невозможность зафиксировать последнее словесное сочетание – ему суждено остаться неизреченным, незафиксированным. Вспомним у Батюшкова: «И смерть ему едва ли скажет...». Такой отсыл не есть прихоть исследователя: «...жду, / что смерть / и та мне скажет, / что я родился / в Благовещенье» (II, 178), – говорится в тексте 1972 г.

Смерть не оказывается последним словом и у Петрова, до нее начинается бессмертие, а после нее – искусство («Искусство – это бытие за гробом...», – говорится в стихотворении 1973 г. «Некому поэту»; II, 271). Если на что поэт, а вместе с ним и его «многолюдный» лирический персонаж, уповает, так это – русский авось. Недаром с 1941 г. мотив гадательности и обыгрывание этой национальной надежды на удачу, ничем не обоснованной, становится всё слышнее, настойчивее, даже навязчивее – как заклинание, даже как молитва. Авось становится у Петрова каким-то божком, сопоставимым с Мусagetом (1964; I, 517), воплощается в развеселого, неунывающего мальчика Авоську.

И только в стихотворении, завершающем «пожизненный» цикл, сказано весьма определенно:

И сегодня, когда мне стукнуло
семьдесят два,
я повторяю упрямо,
что я как поэт бессмертен,
ибо я родился в Благовещенье
(1983; II, 569-570)

Кажется, возвращение к самому себе (до себя и после себя) совершилось и Авось не подвел – превратился в Аполлона, привел своего служителя к тому памятнику, который тот себе и строил.

Вибрации обращения к неведомому у Петрова превращается в псалом, евангелие, благую весть, даже благую вещь, или овечье стадо, или благо и блажь – когда он сам движется навстречу своей единственности и уникальности, но одновременно растворяется во всеобщем. Так поэт и слова испытывает на их единственность, уникальность в звучании, смысле и возможности связей – и, одновременно, на их способности выражать иное, не словарем обозначенное, даже противоположное самим себе. Каждый раз повторенные в начале и конце текста, слова о рождении в Благовещенье получают новое звучание и значение. Они неисчерпаемы в колебаниях, которым их предоставил поэт.

Приложение

Mir zur Feier

Я родился в Благовещенье.
 А когда умру?
 В Успенье
 или в день
 усекновения Главы
 Иоанна Предтечи?
 Сам Господь сказал мне,
 что мироздание –
 на темной научной гуще
 гадание.
 И как хорошо, что я к старости
 не ведаю ничегошеньки.
 Шестьдесят четыре года
 мне начислила природа,
 и от этих лет я сед,
 самому себе сосед.
 И напрасно Большая Медведица
 к нам пытается присусесться.
 Не сидится ей и не едется.
 Вся вселенная – гололедица.
 И живет полноценными сутками
 пейзажик с болотцем и с утками.
 Староватый такой пейзажик!
 А годы это пейзажево
 пожирают мерно и заживо.
 Год по году я отломал,
 а сам еще подло мал,
 сам себе поперечная трещина.
 А между прочим,
 я родился в Благовещенье.

7 апреля 1975